

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ВЯЗЬ

КНИГА 24

ПАВЛОВСКИЙ ТРОН



МУРАТ КАРАДЕНИЗ

Ленинградская вязь

Мурат Карадениз
Павловский трон

«Автор»

2026

Карадениз М.

Павловский трон / М. Карадениз — «Автор»,
2026 — (Ленинградская вязь)

Блокадный Ленинград, 1943 год. В ледяной землянке партизанский отряд находит три старинных кресла из Павловского дворца. Для Алексея Ухтомского и искусствоведа Софьи Горской находка становится началом опасного расследования: в мебели скрыт тайник с письмом, которое проливает свет на подлинные обстоятельства убийства Павла I. Наши дни, Санкт-Петербург. Анна, потомок Ухтомского, обнаруживает записи прадеда о реликвиях. Она понимает: охота за «троном» не закончилась в войну, а лишь сменила правила. Анне предстоит разгадать тайну, за которую сражались ее предки, и столкнуться с теми, кто готов на всё, чтобы правда о заговоре против императора так и не вышла наружу. Прошлое и настоящее сплетаются воедино. История оживает, требуя возмездия. Успеет ли Анна завершить дело, начатое в блокадном Ленинграде, прежде чем те, кто охотится за тайной, доберутся до неё? Исторический триллер с детективной линией в наши дни. Каждая книга — отдельное расследование.

© Карадениз М., 2026

© Автор, 2026

Содержание

ДИСКЛЕЙМЕР	5
ПРОЛОГ. «Землянка у залива»	6
ЧАСТЬ I. «ЗВЕЗДА НАВАШИНО»	11
ГЛАВА 1. «Фотография 1917 года»	11
ГЛАВА 2. «Дневник офицера»	15
ГЛАВА 3. «Заказ для императора»	19
ГЛАВА 4. «Цианид на бархате»	23
ГЛАВА 5. «Клеймо маст	26
Конец ознакомительного фрагмента.	27

Павловский трон

ДИСКЛЕЙМЕР

«Все персонажи и события являются вымышленными. Любые совпадения с реальными людьми, организациями и событиями случайны. Упоминания реальных организаций используются в художественном контексте и не отражают их реальную деятельность».

ПРОЛОГ. «Землянка у залива»

Время: 23 ноября 1943 года, 22:00

Место: Финский залив, лес, землянка

Блокада | Алексей Ухтомский и Софья Горская

Снег падал не вертикально, а почти горизонтально — секущими, злыми порывами, которые вырывались из чёрной пустоты со стороны залива. Ветер нёс соль и ледяную крупу, смешанные с запахом мокрой хвои; сосны стояли плотной стеной, и их смолистый дух перебивал даже солёный привкус, который бил в ноздри с каждым порывом. Снежный наст был глубоким, рыхлым — за ночь выпало не меньше полуметра, и ноги проваливались в него по колено, оставляя за каждым следом тёмные ямки, которые ветер тут же начинал заносить, стирая любые следы за считанные минуты. Алексей шёл вторым, сразу за капитаном Поддубным, и старался ступать след в след, чтобы не проваливаться глубже, не тратить силы на каждый шаг. Он знал, что в этом лесу любая секунда промедления могла стоить жизни, и чувствовал, как холодный пот смешивается с тающим снегом на его висках.

Сзади, прикрывая тыл, двигались трое партизан с карабинами наперевес — их дыхание вырывалось изо рта плотными белыми клубами, которые тут же рвал на части ветер, размазывая по лицам влажную взвесь. Они шли бесшумно, как умеют ходить только люди, прожившие в лесу два года, — каждый шаг выверен, каждый взгляд сканирует пространство между деревьями. Алексей слышал, как за спиной поскрипывает снег под их кирзовыми сапогами, и этот звук был единственным, что напоминало ему о том, что он не один в этой ледяной пустоте.

Софья шла сразу за ним, и он слышал её прерывистое дыхание — не от усталости, от напряжения. Она была искусствоведом, хранительницей Эрмитажа, женщиной, которая провела блокадные годы в музее, спасая картины от холода и сырости, заклеивая окна и топя печки книгами из дворянских библиотек. В её мире не было места ночным переходам через лес к Финскому заливу, где в любой момент могла засвистеть мина или из темноты выскочить немецкий патруль. Но она шла. Потому что то, что они искали, ждало их два года. Или дольше. Намного дольше.

Алексей обернулся на неё на секунду — увидел её лицо, бледное в свете луны, которая иногда пробивалась сквозь рваные облака, и почувствовал странную смесь нежности и тревоги. Он знал, что она не должна быть здесь. Он знал, что если немцы их обнаружат, её судьба будет страшнее его собственной. Но она настояла. Она сказала: «Я должна увидеть их своими глазами. Это моя работа. Это моя жизнь». И он не смог отказать.

Поддубный остановился у старой сосны, ствол которой был расщеплён молнией — чёрная полоса тянулась от корней до самой середины, где дерево раздваивалось, как рогатина. Капитан поднял руку, и отряд замер. Алексей почувствовал, как ветер стих на секунду, будто лес тоже задержал дыхание, прислушиваясь к чему-то, что было за гранью человеческого слуха. В этой тишине он услышал то, чего не замечал раньше: далёкий гул. Тяжёлый, низкий, почти неразличимый гул, который шёл не с неба, а из-под земли. Или из-за земли.

— Здесь, — сказал Поддубный. Голос у него был сиплый, прокуренный, и каждое слово давалось ему с трудом — у него были больные лёгкие, результат сырых землянок и бесконечных переходов. — Землянка в двадцати шагах. Немцы её не использовали. Оставили как есть. Мы проверили — чисто.

Алексей кивнул. Он не спрашивал, откуда Поддубный знает о землянке. Капитан был командиром партизанского отряда, который действовал в этих лесах с сорок первого, и каждый сугроб здесь знал его лучше, чем собственный двор в мирной жизни. Если Поддубный говорил «чисто» — значит, чисто. Но что-то в его голосе заставило Алексея насторожиться. Капитан

не смотрел на него — он смотрел в сторону землянки, и в его глазах, привыкших к темноте, Алексей увидел нечто, похожее на страх. Поддубный не боялся немцев. Он боялся того, что было в этой землянке.

Они двинулись дальше, проваливаясь в снег, и через несколько минут Алексей увидел её — землянку. Она была вкопана в склон небольшого холма, замаскирована ветками и мхом так искусно, что даже днём её можно было не заметить. Но сейчас, в темноте, её выдавал только слабый отсвет керосиновой лампы, пробивающийся сквозь щель в двери, сколоченной из грубых досок. Свет был жёлтым, дрожащим, почти живым — он пульсировал в такт ветру, и Алексей вдруг понял, что внутри кто-то есть. Или что-то.

Он остановился, прислушиваясь к себе, к тому странному чувству, которое не раз спасало ему жизнь на фронте и в блокадном Ленинграде. Это было чувство неправильности — когда всё вокруг выглядит нормально, но что-то не так. Что-то сдвинуто на миллиметр. Что-то нарушает порядок вещей. Он не мог объяснить это словами, но он знал: если он войдёт в эту землянку, что-то изменится. Навсегда.

Поддубный толкнул дверь, и она открылась с протяжным скрипом, который показался Алексею оглушительным в этой мёртвой тишине леса. Снег посыпался с порога, и Алексей шагнул внутрь первым — так было надо, так он привык. За ним вошла Софья. Партизаны остались снаружи, рассредоточившись по лесу, чтобы прикрыть отход. Алексей слышал, как они занимают позиции — лёгкий хруст снега, приглушённые команды, металлический лязг затворов. Они были готовы к бою. Но Алексей знал, что если враг придёт, их будет слишком мало.

Внутри было тепло. Неожиданно тепло. Землянка топилась небольшой печкой-буржуйкой, которую кто-то зажёл совсем недавно — угли ещё дышали красным светом, и от них шёл запах горелой берёзы, смешанный с сыростью земли и прелой соломы, которой были устланы нары. Пространство было небольшим — шагов пять в длину и три в ширину, так что Алексей едва мог выпрямиться в полный рост. Вдоль стен стояли нары, покрытые соломой, на которой никто не спал — солома была сухой, нетронутой, будто её только что постелили. В углу валялась немецкая каска с пулевым отверстием в височной части — пробита навылет, ещё один трофей Поддубного. Рядом лежала пустая фляга и смятая пачка сигарет с надписью на немецком. Но не это привлекло его внимание.

В центре землянки, почти напротив печки, стояли три кресла.

Они были массивными, из тёмного дерева, которое блестело в свете лампы так, будто его только что отполировали. Древесина была тёмно-орехового оттенка, с глубокой, бархатистой текстурой, которая ловила свет и отражала его мягкими, тёплыми бликами. Обивка — тёмно-бордовый бархат, почти чёрный в этом свете, но Алексей видел, что цвет был глубоким, благородным, каким бывает старое вино, которому сто лет. На бархате не было пыли — будто их только что принесли сюда, будто кто-то ухаживал за ними, протирал их влажной тряпкой, полировал дерево до блеска. Подлокотники были резными, с завитками и листьями, и на каждом — позолоченные монограммы. На двух крайних креслах — «П. I» и «М. Ф.». На центральном — корона, под которой были вырезаны буквы, которые Алексей не мог разобрать в дрожащем свете.

Софья ахнула. Тихо, почти беззвучно, но Алексей услышал. Он повернулся к ней и увидел, как её лицо изменилось — из усталого, бледного от холода, оно стало напряжённым, почти испуганным. Она подошла к центральному креслу и провела пальцами по бархату — медленно, неверяще, будто прикасалась к чему-то священному, к чему-то, что не должно было существовать в этом мире, в этом аду.

— Это они, — сказала она шёпотом, и голос её дрожал, как струна, которую перетянули. — Я узнала монограммы. Павел I. Мария Фёдоровна. Это кресла Павловского дворца. Их искали сто сорок лет.

Алексей подошёл ближе, и запах ударил в ноздри с новой силой — странный, сладковатый, почти приторный, как у прогорклого миндаля. Он не мог понять, откуда он идёт, но что-то в этом запахе было неправильным, неестественным. Он вспомнил, что когда-то, в Смольном, старый следователь говорил ему о запахе горького миндаля. Запахе смерти. Тот следователь работал ещё в царской охранке, потом в ЧК, потом в НКВД, и он видел много смертей. Он говорил: «Цианид пахнет миндалём, товарищ Ухтомский. Если вы это почувствуете — бегите. Потому что кто-то уже мёртв. Или умрёт скоро».

— Софья, — сказал он тихо, стараясь, чтобы голос не дрогнул. — Что это за запах?

Она повернулась к нему, и в глазах её был ужас — тот самый ужас, который Алексей видел у людей, когда они понимали, что их жизнь никогда не будет прежней.

— Цианид, — ответила она, и каждое слово давалось ей с трудом. — На бархате. Кто-то пролил яд на обивку. Или... или кто-то умер на этом кресле.

Алексей сжал челюсти. Он видел много смертей за эти два года блокады — смерть от голода, когда лица становились восковыми, а глаза проваливались в череп; смерть от пули, когда тело дёргалось и затихало; смерть от холода, когда люди засыпали в сугробах и не просыпались. Но цианид был чем-то другим. Цианид был из прошлого, из того мира, где люди убивали друг друга не потому, что шла война, а потому, что так было надо. Потому что так было решено. Тайно. Без суда. Без свидетелей.

— Проверь тайник, — сказал он. — Ты говорила, что в этих креслах есть тайник.

Софья кивнула, но не сразу — она смотрела на бархат, и в её взгляде было что-то, чего Алексей не понимал. Она словно видела что-то, что было скрыто от него. Она словно слышала голоса, которых не было.

Она подошла к центральному креслу, опустилась на колени, и её пальцы начали ощупывать подлокотник. Медленно, методично, как у хирурга, который ищет что-то под кожей. Она ощупывала каждую складку бархата, каждый завиток резьбы, каждый миллиметр дерева. Алексей затаил дыхание. Снаружи слышались голоса партизан — они переговаривались приглушённо, но он не разбирал слов. Ветер завывал в трубе печи, и где-то далеко, у залива, раздался одиночный выстрел — то ли немецкий патруль, то ли зверь, то ли просто ветер сломал ветку.

— Здесь, — сказала Софья. — Я нашла.

Она нажала на подлокотник. Три раза. Коротко, отрывисто, как будто выстукивала какой-то код. Первый раз — тишина. Только ветер за стеной. Второй — лёгкий скрип, металлический, едва слышный. Третий — щелчок. Сухой, отчётливый, как выстрел.

В подлокотнике открылась крышка. Маленькая, размером с ладонь, она откинулась в сторону, обнажая углубление внутри. Софья заглянула туда и замерла. Алексей видел её спину, как она напряглась, как плечи опустились, как пальцы сжались в кулак.

— Пусто, — сказала она. Голос её был странно ровным, как у человека, который только что понял, что всё было зря. — Там ничего нет. Ни письма, ни ключа. Ничего.

Алексей почувствовал, как в груди что-то сжалось — холодное, тяжёлое, как камень. Он знал, что они ищут. Он знал о письме Павла I, которое тот написал сыну за несколько дней до убийства. Он знал о семнадцати именах заговорщиков, которые были в том письме. Он знал, что эти кресла были последним местом, где это письмо видели. И теперь оно было пусто.

Он сделал шаг назад и наступил на что-то твёрдое. Под ногой хрустнула бумага — не как снег, не как лист, а как старая, высохшая фотография, которая пролежала в сырости много лет. Он нагнулся и поднял её.

Это был снимок. Старый, пожелтевший, с загнутыми краями — на углах виднелись следы от пальцев, кто-то держал его много раз. На фотографии была комната — подвал с низким сводчатым потолком, из тёмного кирпича, и в центре стояли три кресла. Те же самые. Те же

монограммы. Тот же бордовый бархат. Алексей перевернул фотографию. На обороте, каллиграфическим почерком, который он видел не раз в документах Смольного, было написано:

«Здесь они были спрятаны, но не теми, кого вы ищете».

Он прочитал это вслух, и Софья подняла на него глаза. В её взгляде было недоумение и страх, смешанные в равных пропорциях.

— Кто это написал? — спросила она.

— Я не знаю, — ответил Алексей, и голос его звучал глухо, как из-под земли. — Но почерк мне знаком. Я видел его в деле об убийстве Николая II.

Она хотела что-то сказать, но в этот момент землянка вздрогнула. Сначала — слабо, будто кто-то ударил в стену снаружи. Потом — сильнее, и с потолка посыпалась земля. Снаружи раздался гул — не тот, далёкий, который он слышал раньше, а близкий, почти над головой. Это был артиллерийский обстрел. Снаряды рвались где-то в лесу, и деревья за стенами землянки начинали трещать, как спички, которые ломают в руках.

— Немцы! — крикнул кто-то снаружи. Голос Поддубного, искажённый напряжением, с хрипом, который выдавал его больные лёгкие. — Выходите! Быстро!

Алексей рванул к выходу, но землянка вздрогнула снова — сильнее, так, что печка качнулась, и из неё посыпались искры. Керосиновая лампа качнулась на гвозде, отбрасывая дикие, пляшущие тени на стены, на кресла, на лица. Софья бросилась к нему, схватила его за руку, и они вместе выскочили наружу, в холод, в темноту, в снег, который вдруг стал плотным, почти осязаемым, как стена.

В лесу творился ад. Вспышки разрывов освещали стволы сосен на мгновение, и тени партизан металась между ними, падали, поднимались, стреляли. Поддубный стоял у дерева и кричал что-то, но слов было не разобрать — всё заглушал гул и свист, и звон в ушах, который появляется после близкого разрыва. Алексей побежал к нему, но не добежал. Нога провалилась в снег глубже, чем он ожидал, он потерял равновесие, упал и ударился головой о корень — старый, узловатый, твёрдый как камень. В глазах вспыхнуло белым, потом красным, потом темнота накрыла его, мягкая и тягучая, как вода, в которую падаешь и не можешь вынырнуть.

Он не знал, сколько прошло времени. Может, минута. Может, час. Сознание возвращалось медленно, по кускам — сначала он услышал тишину, странную, неестественную, которая давила на уши, потом почувствовал холод, который проник сквозь шинель и рубашку, а потом открыл глаза.

Он лежал на земле, вниз лицом, и снег таял под его щекой, превращаясь в ледяную воду, которая стекала по шее и холодила кожу до боли. Вокруг было тихо. Слишком тихо. Артиллерия стихла, ветер тоже утих, и в этой тишине было что-то неестественное, что-то, что заставило его сердце биться быстрее, чем тогда, когда рвались снаряды.

Он приподнялся на руках. Голова гудела, и во рту был привкус крови — видимо, он прикусил губу, когда падал, или разбил её о корень. Он огляделся. Рядом, в двух шагах, лежало тело одного из партизан — лицо было бледным, почти белым на фоне чёрной земли, глаза открыты и смотрят в небо, в груди тёмное пятно, которое расплзлось по шинели. Алексей перевёл взгляд дальше и увидел Софью.

Она стояла у землянки, прижимаясь спиной к двери, и смотрела в лес. Лицо её было белым, как снег вокруг, а глаза были расширены от ужаса, такого сильного, что он почти физически ощущал его, как холод, который проникает в кости. Она смотрела туда, откуда пришёл обстрел, и в её взгляде было что-то такое, что заставило Алексея подняться на ноги, несмотря на боль в голове и слабость в коленях.

Он посмотрел туда же.

В лесу стояли силуэты. Четыре, нет, пять фигур в маскировочных халатах, которые сливались со снегом, с деревьями, с темнотой — их почти не было видно, но они двигались. Мед-

ленно, плавно, как призраки, они окружали землянку, и в руках у них были не винтовки, а что-то другое. Что-то длинное, тонкое, что поблёскивало в свете луны, которая вдруг вышла из-за облаков. Алексей не мог разобрать, что именно, но холодок пробежал по его спине, и волосы на затылке встали дыбом.

— Кто это? — прошептал он. Голос не слушался — сорвался, стал хриплым, как у Поддубного.

Софья покачала головой. Она не знала. Она смотрела на эти фигуры, и вдруг одна из них остановилась. Повернулась к ней. И в темноте, на мгновение, Алексей увидел лицо — не человеческое, нет, просто лицо, закрытое маской, из которой смотрели глаза. Глаза, которые, казалось, видели всё. Глаза, которые смотрели прямо на них, сквозь них, в самую суть.

— Бежим, — сказала Софья. — Сейчас. Бежим!

Она схватила его за руку и потянула в другую сторону, к лесу, где было темнее, где снег падал гуще, где можно было затеряться. Алексей побежал за ней, спотыкаясь, падая, поднимаясь, и в ушах у него стучала только одна мысль: кто это? Кто опередил их на два года? Кто знал о тайнике? Кто написал на фотографии эти слова?

Они бежали, не оглядываясь, и снег падал на них, залепляя глаза, забиваясь за воротник, и Алексей чувствовал, как холод обжигает лёгкие, как сердце бьётся о рёбра, как ноги отказываются слушаться. Но он бежал. Потому что за спиной у него была правда. И правда была жива.

В землянке, в темноте, которая снова стала полной, на полу лежала фотография 1917 года. Свет лампы погас — кто-то опрокинул её, и керосин разлился по земляному полу, впитываясь в глину, оставляя жирное тёмное пятно, которое пахло гарью. На фотографии, в центре, стояли три кресла. И на обороте, уже скрытом во мраке, были написаны слова, которые Алексей запомнил навсегда, которые врезались в его память, как след от пули:

«Здесь они были спрятаны, но не теми, кого вы ищете».

Где-то в лесу раздался треск ветки — сухой, отчётливый. Фигуры в маскировочных халатах вошли в землянку. Одна из них подняла фотографию, посмотрела на неё, и в темноте сверкнула улыбка — белая, страшная, как оскал волка.

Они опоздали на два года.

И теперь правда была уже не здесь.

ЧАСТЬ I. «ЗВЕЗДА НАВАШИНО»

ГЛАВА 1. «Фотография 1917 года»

Время: 24 ноября 1943 года, 09:00

Место: Ленинград, госпиталь

Блокада | Алексей Ухтомский

Сознание возвращалось не сразу, и первый ориентир, за который ухватилось его восприятие, был слух. Где-то рядом, сквозь ватную пелену, пробивался звук — ритмичный, металлический, настойчивый. Алексей лежал с закрытыми глазами и слушал, пытаясь понять, что это. Через несколько секунд он узнал — это была капельница. Стекло-колба, в которую капала жидкость, падала с одинаковым интервалом, и этот звук был единственным постоянным в этом пространстве.

Потом пришёл запах. Карболка. Резкая, химическая, перебивающая всё остальное. Алексей узнал его мгновенно: так пахли стены в госпиталях, так пахли перевязочные, так пахла смерть, которую пытались обмануть чистотой и дезинфекцией. Он лежал на спине, и потолок над ним был белым, но не ослепительно, а тускло-серым, как небо над Ленинградом в декабре. Он попытался пошевелить рукой — получилось. Левая рука двигалась свободно, но правая была тяжёлой, будто к ней привязали гирю.

— Не двигайся, — раздался голос. Тёплый, знакомый, чуть хриловатый от усталости, в котором он узнал Софью. — У тебя перелом правого предплечья. И сотрясение. Доктор сказал, тебе повезло, что ты не сломал шею.

Он повернул голову — медленно, потому что каждое движение отзывалось в висках глухой пульсирующей болью, как после долгого обстрела, когда звон в ушах не проходит сутки. Софья сидела на табурете рядом с койкой. Лицо у неё было бледным, под глазами залегли синие тени — она не спала всю ночь, это было видно. Но она улыбалась — той улыбкой, которая появляется, когда страх уже прошёл, но всё ещё держит за горло, не отпуская.

— Софья, — произнёс он. Голос был хриплым, горло саднило, как будто он кричал долго и громко. Он попытался сглотнуть, но во рту было сухо, как в пустыне. — Где мы?

— В госпитале, — ответила она. — На улице Комсомола. Тебя привезли ночью, ты был без сознания. Я сидела с тобой всю ночь. Доктор сказал, что сотрясение средней тяжести, нужно лежать хотя бы три дня. Но я знаю тебя — ты не вылежишь и одного.

Он посмотрел на свою правую руку — она была забинтована от пальцев до локтя, белая марлевая повязка туго стягивала предплечье, и под ней чувствовалось что-то твёрдое — шина. Он попробовал пошевелить пальцами — они слушались, но боль пронзила руку от запястья до плеча, острая, как удар ножа, и он зашипел сквозь зубы.

— Не делай резких движений, — сказала Софья, кладя его ладонь на его здоровую руку. Её пальцы были прохладными и сухими, и он почувствовал, как они слегка дрожат. — У тебя трещина в локтевой кости. Врач сказал, что через месяц заживёт, если будешь слушаться.

— Что случилось? — спросил он, стараясь говорить ровно, хотя голова продолжала гудеть, а каждое слово отдавалось в висках тупой пульсацией. — В землянке. Я помню обстрел, потом упал. Всё.

Софья вздохнула. Она убрала руку и сложила их на коленях, глядя на него серьёзными глазами. В их глубине он увидел усталость — не физическую, а ту, которая появляется, когда человек долго живёт на пределе.

— Партизаны отбили землянку, — сказала она. — Поддубный и его люди выдержали обстрел. Немцев было мало — разведгруппа, не больше десяти человек. Они не ожидали сопротивления. Поддубный перебил половину, остальные ушли в лес. Но мы потеряли двоих. Они лежат на кладбище у парка, Поддубный сказал, что похоронит их сегодня.

Алексей закрыл глаза на мгновение. Двое партизан, которых он видел в лесу — молодые, уставшие, но держащиеся, как настоящие солдаты. Он не знал их имён. Он никогда не узнает их имён. Но они отдали свои жизни за то, чтобы он мог найти правду.

— Кресла? — спросил он, открывая глаза. — Они целы?

— В безопасности, — ответила Софья. — Их вывезли в Ленинград. Поддубный настоял — сказал, что они слишком ценные, чтобы оставлять их в лесу. Сейчас они на складе НКВД на Лиговском проспекте. Я проверила — все три. Ни царапины. Только на центральном кресле...

Она замолчала, и Алексей увидел, как изменилось её лицо. Улыбка исчезла, словно её стёрли резинкой, глаза стали серьёзными, почти испуганными. Она смотрела на его забинтованную руку, но не видела её — она видела что-то другое.

— Что с центральным креслом? — спросил он.

— Бархат, — тихо сказала она. — Там был цианид. Лаборатория подтвердила. На спинке — следы цианистого калия. Анализ показал, что яд старый — не меньше ста лет. Кто-то пролил его ещё в XIX веке.

Алексей почувствовал, как холод пробежал по спине, хотя в палате было тепло — в углу стояла железная печка, на которой грелся чайник. Он вспомнил тот запах, который ударил в ноздри, когда он подошёл к креслам в землянке. Сладковатый, приторный, непохожий ни на что, что он нюхал в блокадном Ленинграде. В городе пахло смертью, но смерть в Ленинграде пахла по-другому — сыростью, плесенью, голодным потом и давленной картошкой. А тот запах был другим. Старым. Чужим.

— Цианид, — повторил он. — Ты уверена?

— Абсолютно, — ответила она. — Я отправила образцы в лабораторию на Мойке. Звонила сегодня утром, пока ты спал. Подтвердили. Цианистый калий. На бархате. Не в дереве, не на металле — именно на бархате. Кто-то пролил его на обивку.

Алексей помолчал. Он слышал о цианиде, читал в протоколах, которые видел в Смольном, когда работал с делами царской семьи. Цианид использовали самоубийцы. Цианид использовали убийцы. В 1917 году, когда расстреливали царскую семью, цианид обсуждался как один из способов — но в итоге использовали пули. Но цианид был ядом императоров. Говорят, что Павла I убили не шарфом, а именно цианидом, который подсыпали в утренний чай. Это были слухи. Сплетни, которые передавали из уст в уста. Но теперь он знал — слухи были правдой.

— Софья, — сказал он, стараясь, чтобы голос звучал твёрдо, хотя внутри всё дрожало, — фотография. Я нашёл фотографию. Ты помнишь?

Она посмотрела на него странным взглядом, как будто он сказал что-то, чего она не ожидала.

— Помню, — ответила она. — Ты сжимал её в руке, когда тебя принесли. Я пыталась разжать пальцы, но ты держал так крепко, что я боялась тебя поранить. Потом пришёл Поддубный и сказал, что заберёт её.

— Где она сейчас? — спросил Алексей, и голос его сорвался на хрип.

— У меня, — раздался голос с порога. — Не волнуйся, целая.

Алексей повернул голову — и увидел Поддубного. Капитан стоял в дверях палаты, опираясь плечом о косяк. Лицо его было землисто-серым, на щеке — свежая царапина, идущая от скулы к подбородку, заклеенная пластырем. На шинели — заплатка, которую поставили наспех, кривыми стежками, и под ней виднелось тёмное пятно. Кровь. Не его, чужак. Но он стоял, и в его глазах, привыкших к темноте, была та же усталость, что и у Софьи.

— Поддубный, — сказал Алексей. — Ты жив.

— Жив, — ответил капитан, и в голосе его слышалась привычная хрипотца, которая всегда появлялась после долгого молчания. — А ты чуть не отдал концы. Ударился ты знатно — я думал, череп треснул. Повезло, что корень был гнилой, а не каменный.

Он вошёл в палату, снял шапку и присел на табурет рядом с Софьей. Алексей заметил, что Поддубный держится чуть скованно — видимо, и ему досталось.

— Фотография у меня, — сказал Поддубный, доставая из кармана внутреннего кармана шинели конверт — жёлтый, потертый, заляпанный грязью. — Я подобрал её в землянке, когда мы грузили кресла. Ты её выронил, когда тебя несли. Я поднял и сунул в карман. Подумал, что она тебе понадобится.

Алексей с облегчением выдохнул. Он не знал, почему эта фотография была так важна ему — он не мог объяснить этого словами. Но он чувствовал, что если бы потерял её, то потерял бы нечто большее, чем просто старый снимок. Он потерял бы нить. Нить, которая связывала их с прошлым, с той правдой, которую они искали.

— Спасибо, — сказал он, принимая конверт. — Ты даже не представляешь, как это важно.

Поддубный усмехнулся — усмешка вышла кривой, на пол-лица, и показалась Алексею странной, почти зловещей в полумраке палаты.

— Ещё бы, — сказал он. — Ты в неё чуть душу не вложил. Пока тебя несли, ты всё твердил: «фотография, фотография». Я уж подумал, что ты там на ней увидел что-то, чего не должен был видеть.

Алексей осторожно, здоровой рукой, достал фотографию из конверта. Она была чуть помятой, но сохранилась хорошо — старый снимок на плотной матовой бумаге, с загнутыми углами и тёмным пятном на правом краю, где кто-то держал её пальцами. На фотографии был подвал — низкий сводчатый потолок из тёмного кирпича, стены, покрытые слоем известки, которая уже начала облупливаться. И в центре — три кресла. Те же самые. Те же монограммы. Тот же бордовый бархат. Кресла стояли на деревянных подставках, и вокруг них было пусто — ни мебели, ни ящиков, только пыль на полу, которую было видно даже на чёрно-белом снимке.

Он перевернул фотографию. На обороте, каллиграфическим почерком, который он видел не раз в документах Смольного, — мелким, аккуратным, с наклоном вправо, — было написано:

«Здесь они были спрятаны, но не теми, кого вы ищете».

— Я прочитал надпись, — сказал он, поднимая глаза на Софью. — Кто-то знал о тайнике до нас. Кто-то был там до нас и забрал письмо.

Софья молчала. Она смотрела на фотографию, и в её глазах Алексей увидел то же, что чувствовал сам — смесь страха и надежды. Страх перед правдой, которую они могли найти. Надежды, что правда всё ещё существует.

— Это почерк Алексея? — спросила она тихо.

— Нет, — ответил он. — Это не мой почерк. Это чужой.

Поддубный нахмурился. Он достал из кармана кисет — прокуренный, засаленный — и начал скручивать сигарку, но Софья жестом остановила его.

— Не здесь, — сказала она строго. — Здесь не курят.

Поддубный убрал кисет с видимой неохотой, но в его глазах Алексей увидел нечто большее, чем просто раздражение. Он увидел беспокойство.

— А я ведь не только фотографию принёс, — сказал Поддубный, понижая голос до шёпота. — Мы нашли в землянке ещё кое-что. Я не успел тебе сказать вчера — ты был без сознания.

Алексей напрягся. Он чувствовал, что сейчас услышит что-то важное, что-то, что изменит всё.

— Что? — спросил он, сжимая фотографию в руке.

Поддубный оглянулся на дверь — в коридоре было тихо, слышны были только шаги медсестры где-то вдалеке и далёкий, приглушённый кашель раненого. Он наклонился ближе, почти касаясь плечом Алексеевой койки, и заговорил почти шёпотом:

— Мы нашли немецкий дневник. Он был спрятан в печке, под слоем саж и золы. Кто-то сунул его туда и завалил углями. Там записи на немецком, датированные 1941 годом. Офицер СС вёл его — в октябре сорок первого, когда они захватили Павловский дворец.

Алексей почувствовал, как сердце пропустило удар. Октябрь 1941 года. Немцы в Павловском дворце. Кресла, которые они нашли. И дневник, который ждал их два года.

— Где он? — спросил он, стараясь, чтобы голос звучал ровно, хотя внутри всё дрожало.

Поддубный достал из другого кармана — внутреннего, нагрудного — небольшую записную книжку в чёрной обложке. Она была выпачкана в саж и грязи, обложка была обожжена по углам, но в целом сохранилась хорошо. Он протянул её Алексею.

— Держи. Может, найдёшь там что-то полезное. Но предупреждаю сразу — там есть страницы, которые я не смог прочитать. Немецкий у меня плохой.

Алексей взял дневник. Кожаная обложка была холодной на ощупь, и он почувствовал под пальцами тиснёный знак — свастика с орлом, стандартное клеймо ведомства. На первой странице, аккуратным каллиграфическим почерком, было написано: «Штандартенфюрер СС Ганс фон Вальденфельс. Павловск. 1941–1942». Он открыл страницу с первым числом.

«15 октября 1941. Павловский дворец. День первый.»

Мы нашли три кресла в подвале. Они пролежали там двадцать четыре года — с 1917 года, когда их замуровали. Состояние отличное — дерево сохранилось, бархат почти не выцвел. Среди них — центральное кресло с монограммой Павла I. Я обыскал его. Тайник пуст. Кто-то был там до нас. Я не знаю, кто это. Но я найду его. Обязательно найду.»

Алексей закрыл дневник и посмотрел на Софью. Она сидела неподвижно, глядя на чёрную обложку, и в её глазах он увидел то же, что чувствовал сам — ледяной холод и жгучее любопытство.

— Значит, мы опоздали, — сказал он тихо. — Опоздали на два года. Кто-то был в землянке до немцев. До нас. Кто-то знал о тайнике и забрал письмо.

Он посмотрел на фотографию, которую всё ещё держал в руке, и прочитал надпись ещё раз: «Здесь они были спрятаны, но не теми, кого вы ищете».

Кто был этот человек? Кто опередил их — и немцев, и партизан? И главное — что он сделал с письмом Павла I?

Он посмотрел на дневник, который лежал на тумбочке рядом с фотографией, и почувствовал, как холод пробегает по позвоночнику. Всё это было связано. Фотография, дневник, кресла, цианид — всё это были куски одной головоломки. И он должен был собрать её.

— Софья, — сказал он, глядя ей прямо в глаза, — мы должны продолжать. Несмотря ни на что. Мы должны найти правду.

Она кивнула. В её взгляде была решимость, которую он видел в ней каждый раз, когда она касалась чего-то, что ждало её столетия.

— Мы найдём её, — сказала она. — Мы обязаны.

Алексей закрыл глаза. Он чувствовал, как боль в голове отступает, уступая место усталости, и сон накрывает его тёплой волной. Но в груди, там, где билось сердце, горела одна мысль: правда ждала их. Правда ждала двести лет. И они найдут её. Они должны.

Он заснул, сжимая в здоровой руке фотографию 1917 года, на обороте которой было написано: «Здесь они были спрятаны, но не теми, кого вы ищете».

ГЛАВА 2. «Дневник офицера»

Время: 24 ноября 1943 года, 14:00

Место: Ленинград, Смольный, кабинет Алексея

Блокада | Алексей Ухтомский и Софья Горская

Смольный встречал их привычным запахом — смесью махорки, сырой шинельной шерсти и канцелярского клея, которым здесь пахло всё, от папок до стен. Алексей шёл по коридору, придерживая правую руку, которая всё ещё была забинтована и висела на перевязи, и чувствовал, как каждый шаг отдаётся в висках тупой пульсацией. Врач в госпитале сказал: «Три дня постельного режима». Алексей продержался четыре часа. Софья шла рядом, неся под мышкой дневник немецкого офицера в чёрной обложке, и её лицо было сосредоточенным, напряжённым — она не спала почти двое суток, но держалась, как держались все в этом городе, который научился жить на пределе человеческих возможностей.

Они прошли мимо дежурного — лейтенанта с бледным, осунувшимся лицом, который кивнул Алексею, узнавая его. Кабинет был на втором этаже, в конце длинного коридора, где окна выходили на Неву, затянутую серым ноябрьским льдом. Алексей открыл дверь ключом, который всегда носил с собой на цепочке — привычка, оставшаяся с первого дня работы в Смольном, когда здесь ещё не было никакой войны, а только холодные коридоры и шепотки о том, кто сегодня арестован.

Внутри было холодно. Печка стояла в углу, но её не топили с утра, и воздух казался ледяным, каким бывает только в нежилых помещениях, где никто не дышит. Алексей подошёл к столу, сел в кресло и жестом пригласил Софью занять место напротив. Она села, положила дневник на стол и открыла его на первой странице.

— Я перевела часть записей в госпитале, — сказала она, и голос её звучал хрипло от усталости. — Пока ты спал. Там много чего интересного.

Алексей кивнул. Он смотрел на чёрную обложку дневника, на тиснёный знак свастики с орлом, и чувствовал, как в груди разливается холод — не от температуры в кабинете, а от осознания того, что они держат в руках.

— Читай, — сказал он. — Всё, что нашла.

Софья открыла дневник на закладке — это был обрывок газеты, засунутый между страниц, и прочитала:

«15 октября 1941. Павловский дворец. День первый.

Мы вошли в подвал через северный вход. Дверь была замурована, но мы взломали её. Внутри — затхлый воздух, пыль, которую не тревожили двадцать четыре года. В центре комнаты — три кресла. Я узнал их сразу — по описаниям, которые видел в архивах Анненберге. Они стояли на деревянных подставках, накрытые чехлами из грубой ткани. Я приказал снять чехлы. Кресла были в отличном состоянии. Бархат выцвел, но не истлел. Дерево сохранилось. Монограммы Павла I и Марии Фёдоровны — подлинные. Я проверил их через лупу. Подделка исключена.

Я сразу же начал искать тайник. Я знал о нём — из документов, которые мы нашли в архиве Министерства внутренних дел. Там было сказано, что Павел I приказал вшить тайник в подлокотник центрального кресла. Я нажал на резной завиток — три раза, как было указано в инструкции. Крышка открылась. Тайник был пуст. Совершенно пуст. Ни письма, ни ключа, ни записки. Ничего.

Кто-то опередил нас».

Софья подняла глаза на Алексея. Её лицо было бледным, но не от холода — от напряжения.

— Это совпадает с тем, что мы видели, — сказала она. — В землянке тайник тоже был пуст. Вальденфельс нашёл его в 1941 году, но он уже был пуст. Кто-то забрал содержимое до того, как немцы вошли во дворец.

Алексей нахмурился. Он сидел неподвижно, глядя на дневник, и в голове его крутились цифры: 1917 — год, когда кресла замуровали в подвале; 1941 — год, когда их нашёл Вальденфельс. Двадцать четыре года кресла пролежали нетронутыми. Но тайник уже был пуст. Значит, кто-то открыл его в промежутке между 1917 и 1941 годом. Или... или раньше.

— Что дальше? — спросил он.

Софья перевернула страницу, нащупала пальцами продолжение и прочитала:

«16 октября 1941. День второй.

Я обыскал подвал. Каждую доску, каждый камень, каждую щель. Ничего. Тайник пуст. Но я нашёл следы — на полу, у стены, где стояли кресла, были отпечатки сапог. Не немецких. Я сравнил их с обувью моих людей. Они были меньше, другого рисунка — гражданские, возможно, или русские военные. Кто-то входил в подвал до нас. Возможно, в 1917 году. Возможно, позже. Но точно не мы.

Я спросил у офицеров, которые сопровождали нас. Они сказали, что дворец охраняли части Красной армии до сентября 1941 года, но их эвакуировали при подходе наших войск. Могли ли они открыть тайник? Возможно. Но почему они оставили кресла? Почему не забрали их? Это не имеет смысла.

Я пришёл к выводу: кто-то знал о тайнике ещё до нас. Кто-то из тех, кто был близок к царской семье. Кто-то, кому Павел I доверял. Или... кто-то, кто хотел использовать его письмо против императора».

Алексей почувствовал, как холод пробегает по позвоночнику, и невольно сжал левую руку в кулак. Он знал, о ком могла идти речь. Семнадцать имён заговорщиков, которые Павел I перечислил в своём письме, — это были не просто фамилии. Это были самые влиятельные люди империи. Граф Пален, граф Беннигсен, князь Зубов — все они были близки к императору. Все они могли знать о тайнике.

— Читай дальше, — сказал он.

Софья перевернула ещё несколько страниц, пропуская записи о быте и снабжении, и остановилась на той, которая была отмечена жирным крестиком на полях — немецкая привычка, которую Вальденфельс, судя по всему, приобрёл на войне.

«15 ноября 1941. Павловск. Пятьдесят четвёртый день.

Я снова спустился в подвал. В этот раз — с экспертом по дереву из Аненэрбе. Он осмотрел кресла и подтвердил, что они подлинные. Но он также заметил нечто, что я пропустил. На спинке центрального кресла, под бархатом, была обнаружена царапина — не от ножа, не от штыка, а от чего-то круглого, небольшого. Я поднёс лупу. Это был оттиск печати — возможно, кольца или перстня. Я снял образец. На нём была часть буквы. «М» или «Н». Или «П». Неясно.

Эксперт предположил, что кто-то нажимал на бархат с силой. Возможно, тот же человек, который открыл тайник. Или тот, кто пытался его открыть. Или тот, кто знал о нём и проверял, на месте ли его содержимое.

Я запросил архивы Аненэрбе по перстню Павла I. В них есть упоминание о перстне-печатке с орлом и инициалами. В 1796 году Навашино получил от Павла заказ на изготовление кресла с тайником. Возможно, перстень был ключом. Возможно, без перстня тайник невозможно было открыть. Но я открыл его. Значит, перстень использовали раньше».

Софья остановилась. Она смотрела в одну точку — на дневник, который лежал перед ней, но глаза её были пустыми, как будто она видела не бумагу, а нечто другое.

— Ты понимаешь, что это значит? — спросила она тихо. — Кто-то открыл тайник до 1941 года. Кто-то использовал перстень Павла I. Значит, письмо было там, но кто-то его забрал. И этот человек мог быть... — она запнулась, — мог быть из семьи Горских.

Алексей нахмурился. Он не понял связи.

— Почему из Горских? — спросил он.

Софья вздохнула. Она достала из кармана пальто сложенный листок бумаги — старый, пожелтевший, исписанный мелким, почти нечитаемым почерком. Она положила его на стол и разгладила ладонью.

— Это письмо моего отца, — сказала она. — Он написал его в 1917 году, когда уезжал из Петрограда. Я нашла его только после войны, когда разбирала вещи в доме моей бабушки. Я не знала, что оно существует. Я прочитала его только вчера, когда лежала в госпитале. И поняла, почему ты нашёл фотографию.

Алексей взял письмо в руки. Бумага была тонкой, почти прозрачной, и на ней действительно был почерк — размашистый, неровный, как у человека, который писал в спешке, под давлением обстоятельств.

Он прочитал:

«Софья, дочь моя. Если ты читаешь это, значит, я уже не вернулся. Прости меня за то, что не сказал тебе правды при жизни.

Я служил в архиве императорского двора в 1917 году. Когда началась революция, нам приказали уничтожить все документы, связанные с царской семьёй. Но я не смог. Я взял некоторые бумаги — и спрятал их. Среди них — письмо Павла I к Александру I. Семнадцать имён заговорщиков. Я прочитал его и понял: это правда. Это та правда, которая может уничтожить многих.

Я спрятал письмо в подвале Павловского дворца, в тайнике центрального кресла. Я думал, что оно будет в безопасности до тех пор, пока кто-нибудь не найдёт его и не обнародует. Но потом я понял: если я его обнародую, я уничтожу не только себя, но и свою семью. Поэтому я оставил его там и уехал.

Я не знаю, что стало с письмом. Может, его нашли. Может, оно всё ещё там. Но если ты читаешь это — не ищи его. Правда слишком опасна. Прости меня».

Алексей опустил письмо. Он смотрел на Софью, и в её глазах были слёзы — не от слабости, а от боли, которую она носила в себе всё это время.

— Это был мой отец, — сказала она. — Он открыл тайник в 1917 году, забрал письмо, прочитал его — и понял, что не сможет его обнародовать. И вернул обратно. Но что-то пошло не так. Кто-то ещё знал о тайнике. Кто-то ещё искал письмо.

Алексей смотрел на неё, и в голове его складывалась картина. 1917 год — революция, хаос, грабежи дворцов, уничтожение документов. Кто-то из архивистов, как отец Софьи, забирает письмо, прячет его, но не может сохранить. Кто-то другой находит его. Или же отец Софьи ошибся — письмо не было возвращено в тайник. Оно было забрано навсегда.

— Что было дальше? — спросил он. — Твой отец уехал?

— Да, — ответила она. — Он уехал из России в 1919 году. Он умер в Париже в 1956 году. Я никогда не знала его. Я родилась после войны.

Алексей помолчал. Он чувствовал, как этот разговор меняет что-то в нём — он вдруг понял, что то, что они ищут, не просто исторический документ. Это чья-то жизнь. Это судьбы людей, которые жили двести лет назад, и людей, которые живут сейчас.

— Ты уверена, что он вернул письмо? — спросил он.

Софья покачала головой.

— Я не уверена, — сказала она. — Он писал, что оставил его там. Но что, если он ошибся? Что, если он хотел вернуть, но не успел? Что, если кто-то нашёл его до него?

Алексей взял немецкий дневник и открыл его на последних страницах, которые не были переведены. Он посмотрел на дату: 20 ноября 1941 года. Вальденфельс писал:

«Я нашёл доказательства. В штабе есть предатель. Кто-то из русских, кто сотрудничает с нами, но работает против нас. Он знал о тайнике. Он знал о письме. И он забрал его. Я должен выяснить, кто это. Это единственный способ восстановить правду».

Алексей закрыл дневник и посмотрел на Софью. Он вдруг понял, что Вальденфельс искал не просто письмо Павла I — он искал того, кто его забрал. И этот человек был близок. Очень близко.

— Здесь, — сказал он, показывая на последнюю страницу, — он пишет о предателе. Кто-то из штаба знал о тайнике. Кто-то опередил немцев на два года.

Софья побледнела. Она посмотрела на дневник, потом на Алексея, и в её глазах был тот самый страх, который он видел в землянке.

— Как ты думаешь, — спросила она, — кто это мог быть?

Алексей не ответил. Он перевернул страницу дневника и увидел вложенный листок — тонкую бумагу, сложенную вчетверо. Он развернул её. На листке был список имён. Семь фамилий. Вверху, первым, значилась фамилия: «Горская».

Он протянул листок Софье.

Она взяла его, посмотрела — и побелела ещё больше. Пальцы её дрожали.

— Это мой отец, — прошептала она. — Он был в штабе. Он знал о тайнике. Он мог забрать письмо.

Она перечитала список, и глаза её остановились на ещё одной фамилии — ниже, на четвёртой строке.

— Или это был не он, — сказала она, поднимая глаза. — Это мог быть кто-то другой. Тот, кто работал с ним. Или... тот, кто выдал его.

Алексей взял листок из её рук и перечитал все семь фамилий. Он не знал ни одной из них, кроме одной — самой верхней. Горская. Фамилия человека, который в 1917 году спрятал письмо Павла I. Или, возможно, человека, который украл его.

— Мы должны выяснить, кто это, — сказал он. — Кто-то из этого списка знал правду. И кто-то из них, возможно, всё ещё жив.

Софья смотрела на него глазами, полными слёз и гнева. Она сжала листок в руке и встала со стула.

— Я найду его, — сказала она. — Даже если это был мой отец. Я найду правду.

Алексей посмотрел на неё и понял, что она не остановится. Ничто не остановит её. И это было правильно.

Она села обратно и открыла дневник на другой странице, где было что-то ещё, что она не читала раньше.

— Здесь, — сказала она, проведя пальцем по строчке. — Вальденфельс пишет: «Я знаю, кто это. Он работает в штабе. Он из тех, кто был в Павловске в 1917 году. И он носит имя, которое я узнал в архивах. Навашино».

Алексей замер. Навашино. То же имя, что и мастер-мебельщик, который создал кресла в 1796 году. То же имя, которое он видел на клейме. То же имя, которое связывало всё воедино.

— Навашино, — повторил он. — Это не совпадение.

— Нет, — ответила Софья. — Это не совпадение. Это нить. И мы должны проследить её до конца.

ГЛАВА 3. «Заказ для императора»

Время: 15 января 1796 года, 14:00

Место: Павловск, мастерская Навашино

Флэшбек | Андрей Навашино

Зимний свет пробивался сквозь заиндевевшие окна мастерской, но не грел — он только подсвечивал стружку, которая вилась над верстаком тонкими завитками, оседая на полу, на одежде, на всех горизонтальных поверхностях густым слоем. Андрей Навашино стоял у станка, склонившись над доской орехового дерева, и его руки двигались с той плавной точностью, которая даётся только десятилетиями работы. Он не слышал шагов вошедшего — только скрип половиц, который на мгновение смешался со скрипом рубанка, а потом стих.

Навашино поднял голову. Перед ним стоял человек, которого он никогда не видел, но чей костюм говорил о многом: чёрный сюртук с бархатным воротником, белые перчатки, трость с набалдашником из слоновой кости. Лицо незнакомца было гладко выбрито, без единой морщины, но глаза — серые, холодные, внимательные — смотрели так, будто видели не только то, что было перед ними, но и то, что скрыто за слоем дерева, времени, тайн.

— Мастер Навашино? — спросил человек. Голос был низким, чуть хриловатым, с едва заметным иностранным акцентом.

— Да, — ответил Навашино, опуская рубанок на верстак и вытирая руки о передник. — Чем могу служить?

Человек шагнул ближе, и Навашино почувствовал запах дорогого табака и лаванды — запах, которого в мастерской не было никогда. Здесь пахло деревом, воском, олифой и стружкой; эти запахи были частью его жизни, его дыхания. А этот чужой запах был словно из другого мира.

— У меня к вам дело, — сказал незнакомец, доставая из внутреннего кармана сюртука конверт с сургучной печатью. — От императрицы Марии Фёдоровны.

Навашино взял конверт. Сургуч был тёмно-красным, почти чёрным, и на нём — вензель с короной. Он осторожно сломал печать, развернул письмо, пробежал глазами по строкам. Почерк был каллиграфическим, изящным, с длинными завитками, которые выдавали женскую руку. В письме было сказано, что император Павел I желает заказать три парадных кресла для своего кабинета в Павловском дворце. Кресла должны быть выполнены из тёмного ореха, с бархатной обивкой бордового цвета. Дерево — самое дорогое, какое только можно найти. Резьба — с изображением лавровых листьев и имперских орлов. И монограммы — «П. I» на центральном кресле, «М. Ф.» на двух других.

Навашино перечитал письмо дважды. Он работал на императорский двор уже много лет, но такого заказа у него никогда не было. Три кресла для императорского кабинета — это была честь, которая могла сделать его имя бессмертным. Или уничтожить его, если что-то пойдёт не так.

— Когда должны быть готовы? — спросил он, поднимая глаза на незнакомца.

— К лету, — ответил тот. — Император желает, чтобы кресла стояли в его кабинете к концу июня. Но есть одно условие, которое не написано в письме.

Навашино нахмурился. Он не любил условий. Особенно тех, которые не были написаны.

— Какое? — спросил он.

Человек шагнул ещё ближе, и его голос стал тише, почти шёпотом — таким тихим, что Навашино с трудом разбирал слова, хотя в мастерской стояла полная тишина, если не считать треска дров в печи.

— В центральном кресле, — сказал незнакомец, — должен быть тайник. Император приказал сделать его так, чтобы никто, кроме него, не мог его открыть. Механизм должен быть скрытым, незаметным, встроенным в резьбу подлокотника. Тайник должен быть достаточно большим, чтобы вместить несколько листов бумаги, сложенных вчетверо.

Навашино почувствовал, как по его спине пробегает холод, хотя в мастерской было тепло от печи, которая топилась с утра. Тайник. В императорском кресле. Это было необычно — даже странно. Он делал тайники раньше, но только для купцов и дворян, которые прятали в них документы, драгоценности, любовные письма. Но для императора? Это было не просто рискованно — это было опасно. Если бы кто-то узнал о тайнике, Навашино могли бы обвинить в шпионаже. Или хуже.

— Я понимаю, — сказал он медленно, стараясь, чтобы голос звучал ровно. — Тайник должен быть скрытым.

— Не просто скрытым, — поправил его незнакомец. — Он должен быть смертельным. Если кто-то, кроме императора, попытается открыть его, механизм должен уничтожить содержимое. Или того, кто пытается его открыть.

Навашино сглотнул. Смертельный механизм. Это было за пределами того, что он мог себе представить. Он делал мебель, а не оружие.

— Я не знаю, как это сделать, — сказал он честно. — Я мастер по дереву, а не инженер. Человек улыбнулся. Улыбка была вежливой, но глаза оставались холодными, как зимняя Нева.

— Вам помогут, — сказал он. — Через неделю к вам придёт человек. Он инженер, специалист по механизмам. Вы будете работать вместе. Он покажет, как сделать тайник. А вы — как скрыть его в дереве так, чтобы никто не заметил.

Навашино кивнул. Он понимал, что у него нет выбора. Отказаться от заказа — это оскорбить императора. А оскорблять императора означало лишиться работы, свободы, возможно, жизни. Но принять заказ — это взять на себя ответственность за нечто, что могло быть использовано во зло.

— Я сделаю это, — сказал он. — Но я должен знать, для чего. Зачем императору тайник в кресле?

Незнакомец помолчал. Он смотрел на Навашино долгим, изучающим взглядом, и в глазах его мелькнуло что-то, чего Навашино не смог прочесть. Возможно, уважение. Возможно, подозрение. Возможно, что-то ещё.

— Это не моё дело, — ответил он наконец. — Мне сказали передать заказ и условия. Остальное меня не касается.

Он повернулся, чтобы уйти, но на пороге остановился и посмотрел на Навашино через плечо.

— Одно предупреждение, — сказал он. — Вы слышали о масонах?

Навашино почувствовал, как его сердце забилося быстрее. Он знал о масонах — все в Петербурге знали о них. Это было тайное общество, о котором говорили шёпотом, которое обвиняли в заговорах против императора. Навашино никогда не был масоном, но его друг, мастер-стекольщик, был членом ложи. Он рассказывал о ритуалах, о символах, о том, что масоны стремятся к истине и свободе. Но Навашино знал также, что император не любил масонов. Он считал их врагами.

— Слышал, — ответил он осторожно.

— Не имейте с ними дела, — сказал незнакомец. — Они опасны. Император знает о них. Он собирается уничтожить их. Те, кто связан с масонами, будут уничтожены вместе с ними.

Он вышел, оставляя за собой запах лаванды и табака, который смешивался с запахом дерева и воска, и долго не выветривался.

Навашино стоял у верстака и смотрел на письмо, которое держал в руках. Три кресла. Тайник. Масоны. Он чувствовал, что этот заказ изменит его жизнь. И не обязательно в лучшую сторону.

Он подошёл к станку и провёл пальцами по доске орехового дерева, которая лежала перед ним. Древесина была тёплой, гладкой, почти живой. Он знал, что может сделать из неё что-то, что будет жить веками. Но он также знал, что должен быть осторожен. Император — не тот человек, которому можно отказать.

Он начал работать. Рубанок скрипел по дереву, и стружка вилась, падая на пол. Навашино работал с тем ощущением, что за ним наблюдают. Он обернулся — в окне никого не было, только заиндевелые стекла, за которыми белел снег. Но чувство не проходило.

Через час в дверь постучали. Навашино подошёл к двери, открыл — и увидел человека в чёрном плаще с капюшоном, который скрывал лицо. Человек был высоким, с широкими плечами, и от него пахло сыростью и холодом.

— Мастер Навашино? — спросил он. Голос был глухим, как из-под земли.

— Да, — ответил Навашино, чувствуя, как сердце снова забилося быстрее.

Человек вошёл в мастерскую и огляделся. Он смотрел на верстак, на доски, на инструменты — и его взгляд был таким, будто он оценивал не мастерскую, а самого Навашино.

— Я от масонов, — сказал он. — Мне сказали, что вы получили заказ от императора. На три кресла.

Навашино замер. Он не знал, как реагировать. Сказать правду — рискнуть быть обвинённым в связях с масонами. Сказать неправду — рискнуть, что масоны его уничтожат. Он стоял молча, глядя на незнакомца, и в голове его крутились сотни мыслей.

— Я знаю, — продолжал незнакомец, — что в одном из кресел будет тайник. Я знаю, что император хочет спрятать там бумаги. Я знаю, что вы не хотели браться за этот заказ.

— Откуда вы знаете? — спросил Навашино, и голос его дрожал.

— Навашино, — сказал незнакомец, делая шаг вперёд, — вы работаете на императора, который убивает масонов. Но мы знаем, что вы не враг. Ваш друг, мастер-стекольщик, сказал нам о вас. Мы хотим помочь вам.

Навашино не знал, что сказать. Он смотрел на человека в чёрном плаще, и в его голове была только одна мысль: он в ловушке. Между императором и масонами. Между жизнью и смертью.

— Что вы хотите? — спросил он, чувствуя, как голос отказывается слушаться.

Человек в плаще подошёл к верстаку и провёл пальцем по доске орехового дерева. Его палец был белым, почти прозрачным, и на нём был перстень с масонским знаком — глаз в треугольнике.

— Мы хотим, чтобы вы вшили в кресла масонские знаки, — сказал он. — Скрытые, невидимые. Чтобы тот, кто знает, увидел их. Чтобы он знал, что кресла созданы руками мастера, который верит в истину. Мы не просим вас делать ничего против императора. Мы просим вас оставить знак того, что вы с нами.

Навашино сглотнул. Он понимал, что если его поймут — если кто-нибудь увидит масонские знаки в императорских креслах, его казнят. Его семью казнят. Его сожгут, как еретика.

— Я не могу, — сказал он. — Это смертельно опасно.

Человек в плаще усмехнулся — глухо, почти беззвучно.

— Мастер Навашино, — сказал он, — вы уже в опасности. Вы взяли за заказ, который может убить вас. Мы предлагаем вам защиту. Вшив знаки, вы станете нашим братом. Мы будем защищать вас. Если вы откажетесь — мы не можем гарантировать вашу безопасность.

Навашино стоял молча, глядя на человека в плаще. Он знал, что выбор сделан. У него не было выбора.

— Я сделаю это, — сказал он. — Я вшью знаки. Но я сделаю их так, что никто не увидит их. Только тот, кто знает.

Человек в плаще кивнул. Он снял перчатку и протянул Навашино кольцо — золотое, с печаткой, на которой был вырезан глаз.

— Носите это, — сказал он. — Это знак того, что вы с нами. Если вам понадобится помощь — покажите это кому-нибудь из масонов. Они помогут.

Навашино взял кольцо. Оно было тёплым, будто его только что сняли с пальца. Он надел его на палец и почувствовал, как металл сжимает кожу, как будто заключает сделку.

Человек в плаще повернулся и вышел, оставляя за собой холод и сырость. Навашино стоял один в мастерской, глядя на кольцо, и думал о том, что он только что сделал. Он связал себя с масонами, которые были врагами императора. Он вшил в кресла тайные знаки, которые могли стоить ему жизни.

Он взял в руки заготовку для центрального кресла и провёл пальцем по гладкой поверхности. Он знал, что в этом кресле будет не только тайник для документов императора — в нём будет масонский знак. Знак братства, которое он только что выбрал. Или которое выбрало его.

Он начал работать, и в мастерской снова раздался только скрип рубанка и шипение дров в печи. Но мысли Навашино были далеко — в мире, где тайны были опаснее пуль, а правда стоила жизни. Он не знал, что выйдет из этого заказа. Но он знал одно: он уже не может остановиться.

ГЛАВА 4. «Цианид на бархате»

Время: 25 ноября 1943 года, 10:00

Место: Ленинград, склад на Лиговском проспекте

Блокада | Алексей Ухтомский и Софья Горская

Склад на Лиговском проспекте был огромным, холодным и тёмным — бывший склад текстильной фабрики, который НКВД реквизировал для хранения трофеев и особо ценных предметов, вывезенных из дворцов и музеев Ленинграда. Алексей шёл по бетонному полу между рядами ящиков и стеллажей, и каждый шаг отдавался гулким эхом, которое уходило под высокий потолок, теряясь в темноте. В руке он держал фонарь — слабый, с жёлтым светом, который выхватывал из мрака только то, что было прямо перед ним: ящики с книгами, картины в деревянных рамах, бронзовые статуэтки, завернутые в тряпки. Всё это было когда-то чьим-то сокровищем. Теперь оно просто ждало. Как и они.

Софья шла рядом, прижимая к груди тяжёлую сумку с лупой, пинцетом и стеклянными пробирками для образцов. Она была одета в тёплое пальто и варежки, но лицо её было бледным, а пальцы дрожали на ходу. Вдвоём они углубились в лабиринт стеллажей, пока не дошли до места, где стояли три кресла.

Они были накрыты брезентом — серым, грубым, на котором виднелись пятна старой грязи. Поддубный привёз их сюда вчера вечером, сразу после того, как партизаны отбили землянку. Алексей протянул руку к брезенту, но на секунду остановился. Он чувствовал, что прикасается к чему-то, что не должно было быть здесь. К чему-то, что принадлежало другому времени.

Он сдёрнул брезент. Кресла стояли на подставках, как в тот момент, когда он увидел их в землянке. Тот же бордовый бархат, та же резьба по дереву, те же монограммы, поблёскивающие золотом в свете фонаря. Только сейчас, при дневном свете, который пробивался сквозь грязные окна под потолком, он видел их яснее. Дерево было темнее, чем ему казалось в землянке, — глубокий ореховый оттенок с прожилками, которые переливались, когда на них падал свет. Бархат был выцветшим на спинках, где солнце (если оно вообще бывало здесь) касалось его, но на подлокотниках цвет сохранился почти полностью — густой, тёмно-вишнёвый.

Софья подошла ближе. Она провела пальцами по обивке центрального кресла, и на мгновение её лицо изменилось — она зажмурилась, будто прикасалась к чему-то болезненному.

— На бархате следы цианида, — сказала она, не открывая глаз. — Они слабые, но они есть. Кто-то пролил яд на это кресло. Или... кто-то сидел в нём, когда умирал.

Алексей нахмурился. Он смотрел на кресло, и в его воображении возникла картина: человек сидит в этом кресле, на его губах появляется пена, тело начинает судорожно биться, пальцы впиваются в бархат, оставляя следы, которые никто не замечает. Или замечают, но не говорят.

— Кто-то умер здесь? — спросил он.

Софья открыла глаза. Она посмотрела на него долгим взглядом, и в её глазах был тот же холод, что и в воздухе склада.

— Я не знаю, — ответила она. — Цианид мог быть пролит случайно. Или намеренно. Но я чувствую, что это кресло видело смерть. Не такую, как в войну. Другую. Более тихую.

Алексей шагнул ближе, чтобы рассмотреть кресло детальнее. Он опустил на корточки, чтобы посмотреть на подлокотник на уровне глаз. Дерево было гладким, полированным, но на правом подлокотнике, там, где обычно лежала кисть руки, он заметил что-то странное — тонкие линии, почти незаметные на фоне тёмной древесины. Он поднёс фонарь ближе.

— Софья, — сказал он, — посмотри сюда.

Она подошла и наклонилась к подлокотнику. Её пальцы коснулись древесины, и она вздрогнула.

— Царапины, — сказала она. — Глубокие. Кто-то царапал дерево чем-то острым.

Она достала из сумки лупу — старую, с бронзовой оправой, которую она всегда носила с собой, когда работала с экспонатами. Поднесла её к подлокотнику и замерла. На несколько секунд она стояла неподвижно, потом посмотрела на Алексея.

— Здесь буквы, — сказала она. — Кто-то выцарапал на дереве слово. По-немецки. "Verrat". Предательство.

Алексей почувствовал, как холод пробегает по спине. Предательство. Слово, которое он слышал в дневнике Вальденфельса. Слово, которое тот написал о ком-то в штабе. Слово, которое теперь было вырезано на подлокотнике кресел.

— Это мог сделать Вальденфельс, — сказал он. — Он искал тайник, нашёл его пустым и оставил своё послание.

Софья покачала головой.

— Нет, — сказала она. — Царапины старые. Не 1941 года. Они глубже, въелись в древесину. Им не меньше двадцати лет. Может, больше. Это мог сделать кто-то, кто был здесь до Вальденфельса. Кто-то, кто знал о тайнике.

Алексей стоял молча, глядя на выцарапанное слово. Verrat. Предательство. Кто-то оставил это как предупреждение. Или как обвинение. Он поднёс ладонь к бархату спинки и почувствовал слабый, едва уловимый запах — смесь старого дерева, пыли и ещё чего-то, что не вписывалось в этот ряд. Запах был странным, тёплым, сладковатым, будто кто-то курил здесь ладан. Он знал этот запах — он возникал в церквях, когда там служили обедню. Но здесь, на складе, в этом холодном бетонном помещении, он был неуместным.

— Ты чувствуешь это? — спросил он Софью.

Она кивнула, и её лицо стало ещё бледнее.

— Ладан, — сказала она. — Кто-то курил здесь ладан. Или... его использовали во время какого-то ритуала.

Алексей смотрел на кресло, на выцарапанное слово, на бархат с остатками цианида. Все эти детали не складывались в единую картину. Как будто кто-то нарочно запутывал следы, оставляя улики, которые противоречили друг другу.

— Сделай анализ, — сказал он. — Возьми образцы с бархата. С древесины. С царапин. Может быть, там есть что-то, чего мы не видим.

Софья кивнула и начала работать. Она аккуратно, пинцетом, снимала микроскопические частицы с бархата, помещая их в стеклянные пробирки. Её движения были точными, как у хирурга, и на её лице была та сосредоточенность, которую Алексей видел у неё в Эрмитаже, когда она реставрировала старые картины. Она была в своей стихии.

— Здесь ещё кое-что, — сказала она, не поднимая головы. — Под подлокотником, там, где резьба. Я вижу следы чего-то, что не похоже на цианид. Это похоже на... кровь.

Алексей напрягся. Кровь на бархате. Кровь под подлокотником. Кто-то сидел в этом кресле и истекал кровью. Или кто-то прикоснулся к нему, оставляя следы, которые остались невидимыми почти сто лет.

— Это может быть что угодно, — сказала Софья, поняв его мысли. — Старая кровь, которая въелась в ткань. Но я возьму образец. Если там есть что-то, лаборатория подтвердит.

Она продолжила работать, а Алексей отошёл на шаг и оглядел все три кресла. Он заметил, что на крайних креслах царапин нет. Только на центральном. Только на том, где был тайник.

Он подошёл к левому креслу, с монограммой «М. Ф.». Обивка была такой же, как у центрального, но на ней не было следов цианида или крови. Он провёл пальцем по бархату, чувствуя его текстуру — мягкую, почти бархатистую, как у жизни, которая когда-то была здесь.

— Почему только центральное кресло? — спросил он вслух. — Почему только на нём есть царапины, следы яда и крови?

— Потому что оно было главным, — ответила Софья, не отрываясь от работы. — В нём был тайник. В нём было письмо. Вокруг него строились события.

Алексей стоял молча, глядя на кресла. Он чувствовал, как холод проникает сквозь пальто и шинель, и его дыхание в морозном воздухе превращалось в пар.

— Письмо, — повторил он. — Это всё из-за письма. Кто-то хотел его получить. Кто-то хотел его уничтожить. И кто-то хотел, чтобы оно никогда не было найдено.

Он посмотрел на слово «Verrat», выцарапанное на подлокотнике, и подумал, что оно может быть адресовано не Вальденфельсу. Оно могло быть адресовано отцу Софьи. Или мастеру Навашино. Или даже самому Павлу I.

— Алексей, — сказала Софья, поднимая глаза. — Я нашла ещё кое-что. Посмотри сюда.

Она показала на внутреннюю сторону подлокотника, там, где начиналась резьба. Алексей подошёл, наклонился и увидел то, что она заметила: маленький символ, вырезанный в дереве, почти незаметный среди завитков и листьев. Это был глаз, вписанный в треугольник. Масонский знак.

— Масоны, — сказал он, и голос его был глухим, как будто он боялся, что его услышат. — Они знали о тайнике.

Софья кивнула. Она выпрямилась, отряхнула руки и посмотрела на Алексея.

— Это меняет всё, — сказала она. — Если масоны знали о тайнике, значит, они могли забрать письмо. Они могли уничтожить его. Или сохранить.

Алексей смотрел на масонский знак, и в его голове складывалась картина. Навашино, мастер, который создал кресла, мог быть масоном. Он мог вшить в них свои знаки. Он мог сделать так, что тайник будет доступен не только императору, но и тем, кто знает секретный код.

— Мы должны найти дневник Навашино, — сказал он. — Если он существует, в нём могут быть ответы.

Софья кивнула. Она завернула пробирки в тряпку и убрала их в сумку. Встала, поправила пальто.

— Я пойду в Эрмитаж, — сказала она. — В нашем архиве есть документы о мастерах-мебельщиках XVIII века. Может быть, там есть записи о Навашино.

Алексей кивнул, глядя на неё. Он знал, что она не остановится, пока не найдёт правду. Это было её предназначением. И его — тоже.

Они вышли со склада, оставив кресла в темноте. Слово «Verrat» осталось на подлокотнике, ожидая того, кто сможет понять его значение. Или того, кто станет следующим.

ГЛАВА 5. «Клеймо маст

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.